Ответ Пушкина на «Послание» Шевырева

Людмила Зайонц (Москва)

«Послание к А.С. Пушкину» было написано Шевыревым в Риме в июле 1830 г. и отослано Погодину с просьбой передать его при случае Пушкину. Однако из-за задержки Пушкина в Болдино случай представился лишь в январе 1831 г., о чем Погодин и сообщил Шевыреву в письме от 25 января 1831 г.: «Послание Пушкину отдал; очень, очень благодарен и хотел ответить тебе стихами же; разве только свадьба теперь помешает: на днях женится»[1]. «Послание» было опубликовано в альманахе «Денница» в феврале 1831 г. Ответа Шевырев так и не дождался.

Этот сюжет вошел в историю литературы как данность и в таком виде был канонизирован исследовательской традицией. В работах М. И. Аронсона и Е. А. Маймина «молчание» Пушкина получило историко-литературное обоснование[2]. Суть его сводилась к тому, что, несмотря на неоднократные обещания Пушкина ответить Шевыреву[3], у него были основания не торопиться с ответом. Свадьба, конечно, потеснила все прочие дела, но, как считают исследователи, дело было не в ней, а в содержании «Послания». По мнению Е. А. Маймина, языковая программа Шевырева «едва ли могла вызвать возражение со стороны Пушкина. В ней немало здравого и исторически необходимого. В ней было только мало нового. По существу, Шевырев ломился в открытые двери. Может быть, Пушкин поэтому и не ответил на его Послание. С ним спорили, а он не видел предмета для спора»[4]. Близкая идея еще в конце 1930-х гг. была высказана и М. И. Аронсоном: «У Пушкина была своя дорога искания новых путей для русской литературы в начале 30-х годов, — экспериментальная работа Шевырева нового ему дать ничего не могла»[5].

Предложенное объяснение вполне может быть принято, если предположение о сознательном нежелании Пушкина вступать с Шевыревым в дискуссию принять a priori. Между тем имеющиеся в нашем распоряжении факты свидетельствуют лишь об одном — о том, что Шевырев не получил от Пушкина ничего похожего на ответ. Следовательно, утверждение, что ответа по тем или иным причинам могло и не быть, является известным допущением, позволяющим внести хоть какую-то логику в эту до сих пор не очень понятную историю. Таким образом, теоретически мы оказываемся перед двумя равноправными гипотезами: по одной — ответа не было, по другой — ответ был или, точнее, предполагался, но остался вне поля зрения исследователей. Это означает, что от какой бы версии мы ни отталкивались, мы будем иметь дело с реконструкцией более или менее вероятного сюжета.

Первая гипотеза была разработана в книге и статьях Е. А. Маймина и является на сегодня единственной. К ней по-прежнему продолжают апеллировать авторы статей о литературных взаимоотношениях Пушкина и «московской» школы, однако в последнее время с едва уловимым оттенком раздражения, то ли в адрес Пушкина, то ли в адрес «оправдывающих» его историков: «Сколько-нибудь отчетливо Пушкин на прямое обращение Шевырева к нему не ответил: „Послание" 1830 г. Пушкин практически обошел молчанием»[6]. Выбор цитаты не случаен. В ней проступают именно те эмоции, которые на протяжении семидесяти лет заставляли ученых вновь и вновь возвращаться к этому эпизоду — недоумение по поводу «молчащего» Пушкина и не проходящее ощущение остающейся лакуны.

Возникающая то и дело потребность объяснить или реконструировать причины несостоявшегося поэтического диалога свидетельствует, на наш взгляд, о том, что в представлении исследователей отсутствие ответа нарушает логику литературных взаимоотношений Пушкина с кругом «Московского Вестника» — и поэтому нуждается в мотивации. Окажись «молчание» Пушкина естественной и ожидаемой реакцией, не было бы предмета и для сегодняшнего разговора. По всем расчетам Пушкин должен был отвечать Шевыреву.

Эта не эксплицированная до сих пор позиция во многом основательна. Однако здесь мы уже вступаем в область второй гипотезы, допускающей в том или ином виде существование пушкинского ответа. Сразу оговоримся, что речь не идет ни о его гипотетическом варианте, ни о новонайденном автографе, а лишь о сомнительности версии, выдвинутой М. И. Аронсоном и Е. А. Майминым. Их идею о литературно-исторической дистанции, разделявшей Шевырева и Пушкина, можно принять в качестве общей концепции пушкинских разногласий с «московской» школой в целом. В орбиту этого конфликта автоматически попадает и шевыревское «Послание», однако означает ли это, что Пушкин проигнорировал полемический выпад, исходя из представлений о ходе литературной эволюции?

В любом случае, отсутствие пушкинского ответа продолжает оставаться вещью в себе, если не попытаться взглянуть на него как на одно из возможных звеньев сюжета, кульминация которого пришлась на осень 1830 г.

К концу 1820-х гг. идейные и литературные разногласия сторон обострились настолько, что и Шевырев, и вслед за ним исследовательская традиция вправе были ждать от Пушкина реакции на столь энергичное прямое обращение. Как известно, новации «московских юношей», поначалу заинтересовавшие Пушкина, очень скоро разочаровали его. Расхождения с редакцией «Московского Вестника», в том числе и по журнальной стратегии, также оказались принципиальными. Сигналом к поэтической конфронтации стало шевыревское «Обозрение русской словесности за 1827 год», где он выступил с резкой критикой Баратынского[7]. Все это происходило на фоне энергичных попыток москвичей отсечь от Пушкина все «лишнее», уложив его в прокрустово ложе своей идейно-эстетической программы[8]. В итоге «ревнивая обида отвергнутых союзников и неудачливых „миссионеров", не преуспевших в попытках обратить Пушкина в свою веру», еще более обострила конфликт, выведя его за рамки профессиональных споров[9].

Шевырев же, с 1829 г. пребывавший в Италии, не прерывал внутреннего диалога с поэтом, на которого продолжал возлагать большие надежды. «Послание» родилось под впечатлением коллективного письма, написанного Шевыреву на новоселье у Погодина в апреле 1830 г., в котором были строки и от Пушкина: «Возвратитесь обогащенные воспоминаниями, новым знанием, вдохновениями, возвратитесь и оживите нашу дремлющую северную литературу»[10]. Это были именно те слова, которые Шевырев более всего хотел бы услышать от Пушкина. Он не мог уловить иронии, так как Пушкин намекал на его заветные планы — «оживить северную литературу» полномасштабной реформой стиха, оснащенного высокими идеями и «всеми ладами Тассовой гармонии»[11]. Одним из обязательных условий успеха по-прежнему мыслился творческий тандем с первым поэтом России. В ответном письме к Погодину Шевырев признавался в том, что слова Пушкина были для него «электрическими»: «Он мне прислал спирту русского против неги полуденной <...> еще до письма у меня в голове было к нему послание из Рима; теперь оно скорее созреет — он сам кстати дал искру; я в Риме лучше понял назначение России и Пушкина»[12]. Смысл, который Шевырев «угадал» в пушкинских строках, был для него «не случайным» и означал, что Пушкин готов к диалогу, понимает их общее предназначенье и отныне говорит на одном с ним языке. «Послание» начиналось стихами:

... Тебе звучат, наш камертон Поэт,
На лад твоих настроенные струны. <...>
Из Рима мой к тебе несется стих,
Весь трепетный, но полный чувством тайным,
Пророчеством, неясным для других,
Но для тебя не темным, не случайным <курсив мой. — *Л. З.*>.

17 июля «Послание к А. С. Пушкину» было закончено[13]. Отправляя его в Россию, Шевырев не без оснований рассчитывал на достойный ответ. «Послание» предполагало публичность, тон его был бескомпромиссен, содержание, как, видимо, полагал Шевырев, в высоком смысле провокационно: в нем сочетался пафос гражданского воззвания, литературного манифеста и критического разбора. Нового в «Послании», действительно, ничего не содержалось: размышления над судьбой русского языка, замученного «гальскою диэтою», пропаганда высоких национальных идей в поэзии, обращенный к Пушкину призыв «стать колоколом во славу россиян», примкнув к задуманной Шевыревым реформе стиха, — все эти вопросы не раз обсуждались и до отъезда Шевырева в Рим, и будут продолжать обсуждаться по его возвращении в 1832 г.[14] Однако главную ставку в своем «Послании» Шевырев, разумеется, делал не на декларативную часть — она выдвигалась в качестве надежного арьергарда. Речь же шла о том, что по-настоящему волновало обоих поэтов — о путях обновления поэтического языка. Борьба с «пушкинской» школой имела для Шевырева принципиальное значение: он и его единомышленники «первыми в России заговорили о „языке поэзии" как вполне операционном и философски обоснованном понятии, а именно в языке, так понимаемом, он видел соль поэзии и главный

пункт расхождения во взглядах и поэтической практике между Пушкиным и им самим»[15]. Между тем избранный Шевыревым жанр и стиль обращения не давали возможности обнажить болевые точки конфликта, подхлестнув, таким образом, давно назревшую полемику. Вероятно, это почувствовал и Шевырев. И тогда, почти сразу за «Посланием», появляется адресованная Пушкину эпиграмма «Вменяешь в грех ты мне мой темный стих...»[16]. Ее и следует считать «пуантом» предпринятой Шевыревым акции. Пересылая новое стихотворение Дельвигу для публикации в «Литературной газете», Шевырев вполне мог рассчитывать, что в такой, куда более жесткой, комбинации его «Послание» уж наверняка достигнет цели. Первоначальное название эпиграммы — «Пушкину» — Шевырев старательно вымарал и «предоставил окрестить» ее Дельвигу (при публикации в «Литературной газете» за 3 октября 1830 г. стихотворение будет названо «Сравнение»). По мнению М. И. Аронсона, сделал он это потому, что «считал неудобным помещать эпиграмму на Пушкина в период ожесточенных нападок на него со стороны Булгарина и Николая Полевого и, кроме того, поместить эту эпиграмму в органе самого Пушкина»[17]. Думается, ученый несколько преувеличивал альтруизм Шевырева. Последний, безусловно, понимал, что с любым вариантом заглавия он играет на руку и Булгарину, и Полевому, а «маскировка» адресата — чистая фикция, тем более, если в эпиграмме легко угадывался намек на разруганную в критике «Полтаву»[18]. Таким образом, стихотворение, в котором пушкинскому «жидкому» стиху Шевырев противопоставлял густоту и силу своего — «нечистого» и «темного», брало на себя основную ударную силу «Послания». Об этом косвенно свидетельствует и сам Шевырев: «Да все мое послание написано против гладких стихов!» — раздраженно отвечает он Погодину, рискнувшему высказаться в том смысле, что «гладкое» не мешает силе[19].

Если же припомнить содержание журнальных статей, то окажется, что «Послание» в своей полемической части почти дословно дублирует их. Достаточно сравнить шевыревскую характеристику «гладкого слога»: «... И мысль на нем как груз какой лежит! / Лишь песенки ему да брани милы; / Лишь только б ум был тихо усыплен / Под рифменный, отборный пустозвон» — с нашумевшим «Анекдотом» из мартовского номера «Северной Пчелы» 1830 г.: «Француз, служащий усерднее Бахусу и Плутусу, нежели Музам, который в своих сочинениях не обнаружил ни одной высокой мысли, ни одного возвышенного чувства <...> у которого <...> голова, род побрякушки, набитой гремучими рифмами...» (в статье также содержались оскорбления личного характера и намеки на «Гаврилиаду», только что побывавшую предметом политического процесса)[20]. Подобные примеры с легкостью могут быть умножены — в антипушкинской критике 1830 г. они становятся общим местом. Погодин, по обыкновению подробно информировавший Шевырева обо всех новостях, писал ему в марте: «Пушкин здесь <...> его ругают наповал почти во всех журналах: в Северной Пчеле, Сыне Отечества, Телеграфе, Галатее, Вестнике Европы...» — и далее следует подробный пересказ булгаринского «Анекдота» из «Северной Пчелы». «Мне очень жаль, — заканчивает Погодин, — что эти площадные брани его слишком трогают,

как бывало тебя»[21]. Это письмо Шевырев получит в мае 1830 г. Судя по всему, в это же время (см. процитированное выше письмо Шевырева к Погодину от 20 июня) у него созревает идея полемического воззвания к Пушкину, возможно, не без честолюбивого замысла самому попытаться «укротить» строптивого гения[22].

Таким образом, Шевырев уверенно перехватывал эстафету у Булгарина и Полевого. И «Послание», и эпиграмму Пушкин должен был бы увидеть осенью 1830 г. Этого, как известно, не случилось из-за задержки поэта в Болдино. Однако что могло помешать Пушкину ответить потом, по возвращении в столицу?

Ответ на этот вопрос, как представляется, кроется не столько в содержании «Послания», вокруг которого традиционно было сосредоточено основное внимание, сколько в том, в какой момент пушкинской биографии оно появляется.

Как ни далек был Шевырев от Москвы и Петербурга, но регулярная и обильная переписка позволяла ему держать руку на пульсе столичной литературной жизни. Его обращения к Пушкину, первое из которых дошло до публики лишь спустя полгода, пришлись на гребень развернувшейся в критике 1829—1830 гг. антипушкинской кампании и, при всем неподдельном пиетете к первому поэту, отражали суть накопившихся к нему литературных и общественных претензий. Но как раз в этот год у Пушкина не было ни времени, ни возможности сосредоточиться на полемике — он готовился к свадьбе, и если бы она состоялась в срок, то можно не сомневаться, что в течение нескольких месяцев ему было бы не до литературных баталий (как оно впоследствии и произошло в истории с Шевыревым. От «мышиной возни» с Булгариным под тем же предлогом он открестился еще в марте: «Булгарин изумил меня своей выходкою, сердиться нельзя, но побить его можно и, думаю, должно — но распутица, лень и Гончарова не выпускают меня из Москвы...»[23]).

Однако свадьбу пришлось отложить — осенью более чем на три месяца Пушкин застрял в Болдино. Выезжая в конце августа из Москвы, он рассчитывал обернуться за пару недель, но и, разумеется, по возможности эффективно использовать их для себя — многие планы грозили остаться незавершенными. В сентябре он заканчивает работу над «Евгением Онегиным», повестью «Гробовщик», пишет «Станционного смотрителя», «Барышню-крестьянку», «Сказку о попе...», более десятка стихотворений. К концу месяца становится ясно, что из Болдино уже не выбраться, надо ждать снятия карантинов. А значит, и некуда торопиться.

Именно в эти дни (конец сентября — начало октября) Пушкин приступает к работе над циклом полемических заметок, объединенных названием «Опровержение на критики»: «... нынче, — пишет он 2 октября, — в несносные часы карантинного заключения, не имея с собой ни книг, ни товарища, вздумал я для препровождения времени писать опровержение на все критики, которые мог только припомнить...»[24]. То есть, не случись холеры, Пушкину, скорее всего, так и не удалось бы когда-нибудь еще выкроить на это время. Статья осталась недописанной и при жизни Пушкина опубликована

не была (за исключением небольшого отрывка о «Полтаве»). Судя по стилю и фрагментарности заметок, можно предположить, что тогда они выполняли скорее психотерапевтическую, нежели литературно-публицистическую задачу — выплескивалось накопившееся. Вместе с тем нетрудно заметить, что сознание Пушкина отфильтровывает не все, а некий «базовый» ряд претензий, наиболее для него значимых. Мы остановимся на тех позициях, которые, на наш взгляд, имеют непосредственное отношение к теме нашего разговора.

В первую очередь это критические статьи в «Вестнике Европы», «Северной Пчеле» и «Московском Телеграфе», т.е. Надеждин, Булгарин и Полевой, вызвавшиеся в 1830 г. «втоптать» Пушкина с Баратынским «в грязь»[25]. Наряду с признанием «совершенного падения» Пушкина в седьмой главе «Онегина» и «Полтаве», с новой силой зазвучали обвинения „пушкинской" школы в чрезмерном увлечении формой, пренебрежении содержанием и отсутствии мысли. В этом сходились и желтая пресса, и московские интеллектуалы, по мнению которых из Пушкина «ввек ничего не будет, кроме юмористического стихотворца»[26]. Ср. с репликой Надеждина в «Вестнике Европы»: «Нет! воля ваша! А Пушкин — не мастер мыслить!»[27].

Именно с упоминания «разборов „Вестника Европы" и приговоров „Северной пчелы"» начинается цикл статей «Опровержение на критики». В ряду фрагментов, в той или иной мере связанных с этим же кругом вопросов, выделяется статья о Баратынском. Безусловно, это реакция на недавно объявленную кампанию, однако фразеология статьи отсылает к конфликту с «Московским вестником» 1828 г., когда Шевырев в своем «Обзоре...» крайне неодобрительно отозвался о нем как о «поэте выражения», но не поэте «мысли и чувства»[28]. Защищая Баратынского, Пушкин, несомненно, отстаивал и собственные позиции[29]: «Баратынский принадлежит к числу отличных наших поэтов. Он у нас оригинален, ибо *мыслит* <...> мыслит по-своему, правильно и независимо, между тем как *чувствует* сильно и глубоко»[30] <курсив мой. — *Л. З.*>. Акцент Пушкина на характеристиках *мыслит* и *чувствует* не только коррелирует с критической оценкой Баратынского Шевыревым, но и переводит полемику в тот смысловой регистр, где такие понятия, как *форма*, *содержание*, *язык*, *мысль*, приобрели статус философско-эстетических категорий. Это сфера поэтического мировоззрения, экспансию которого с конца 20-х гг. ощущает на себе Пушкин и апологетом которого является в эти годы Шевырев. Весь текст статьи о Баратынском наводнен выпадами в адрес москвичей и Шевырева, практически по всей парадигме спорных приоритетов — от проблем поэтического языка до концепции Гения[31]. Последнее, как убедительно было продемонстрировано Н. Н. Мазур, нашло свое полемическое воплощение в трагедии «Моцарт и Сальери»: «духу системы», фанатичными адептами которой выступали в своих теоретических воззрениях «московские юноши», Пушкин противопоставляет свободного гения, «безумца» и «гуляку праздного» — «воплощенную антисистему»[32]. Вывод Н. Н. Мазур об «антимосковской» направленности трагедии подтверждает высказанное в свое время более общее

наблюдение Е. А. Маймина: «В историко-литературном плане маленькие трагедии Пушкина — это его ответ на требования „поэзии мысли“. Ответ чисто пушкинский, оригинальный, особенный»[33]. Трагедия была закончена 26 октября и названа «Зависть».

В первую неделю октября одновременно с критическими заметками и началом работы над пьесой Пушкин пишет несколько стихотворений, одно из которых, по нашему убеждению, имеет прямое отношение к приведенному выше материалу. Именно рядом с ним впервые в болдинских набросках появляется пометка — «зависть»[34]. Это «Стихи, сочиненные ночью, во время бессонницы», датированные 2 октября.

«Стихи, сочиненные ночью...» традиционно рассматривались в контексте болдинской лирики как одно из «ночных» стихотворений, стоящее в одном ряду с «Воспоминанием» (1828), «Бесами», «Заклинанием» (1830) и др., объединенными друг с другом «поисками смысла и цели в жизни, ощущением своей зависимости от рока и стремлением найти для себя опору в окружающем мире»[35]. Указывалось также, что стихотворение о бессоннице «выдает присутствие стихийного порыва мысли»[36] и «вызвано локальным чувством страха, не имеющим, если судить по произведениям 1830 г., мировоззренческой основы»[37]. Между тем весь ход работы Пушкина над текстом свидетельствует о его тесной внутренней соотнесенности с общим полемическим дискурсом этого периода.

Работа над стихотворением идет параллельно работе над статьей «Опровержение на критики» и, судя по черновику, в общем с ней проблемном ключе. Отвечая на критический разбор четвертой и пятой глав «Онегина» в «Атенее», Пушкин отдельно останавливается на «реабилитации» своего стиха *Людскую молвь и конский топ*, который «более всего раздражил» критика. «Над этим стихом, — пишет Пушкин, — жестоко потом посмеялись и в „Вестнике Европы“. *Молвь* (речь) слово коренное русское. *Топ* вместо *топот* столь же употребительно, как и *шип* вместо *шипение* <...> На ту беду и стих-то весь не мой, а взят целиком из русской сказки: „И вслед он за врата градские, и услышал конский топ и людскую молвь“. Бова Королевич»[38]. Практически синхронно (а цикл этих фрагментов датируется промежутком между последними числами сентября и серединой октября) в черновой рукописи стихотворения отрабатывается вариант стиха *Топот бледного коня*, *Топ небесного коня*, давшего впоследствии повод для многочисленных интерпретаций в связи с генеалогией «Медного всадника». В данном случае не столь важно, какой из двух текстов — черновик стихотворения или критическая заметка — был первым, намного важнее, что один спровоцировал появление другого. Предположить, что они возникли независимо друг от друга, трудно, особенно если учесть чрезвычайную редкость употребления Пушкиным существительного *топ* (всего 4 случая).

По размышлениям Пушкина над лексическим составом и стилистикой стихотворения, отраженным в черновых вариантах, легко угадывается и традиция, на которую он ориентируется: это монументальная ночная ода XVIII в., пропущенная сквозь призму поэзии «любомудров»[39]. Первый слой

«архаики», впоследствии снятый (*топ небесного коня, вечности бессмертный трепет, парк ужасных, парк пророчиц*), свидетельствует о первоначальном намерении Пушкина смоделировать текст в соответствии с требованиями медитативного жанра, оснастив его соответствующей стилистической атрибутикой — архаизированной лексикой, элементами одической фразеологии, инверсированным синтаксисом и т.д. В дальнейшем каждый из этих образов пройдет «процедуру» стилистического понижения, остановясь на точно выверенной грани, еще сохраняющей «память» жанра, но уже свободной от его «шлака»[40]. Так будет в окончательной редакции 1835 г. В болдинском варианте работа в этом направлении останется незаконченной, как и работа над циклом полемических статей, и беловой автограф будет выглядеть так:

(1830)	(1835)
Мне не спится, нет огня;	
Всюду мрак и сон докучной.	
Ход часов лишь однозвучной	
Раздается близ меня.	
Парк ужасных будто лепет,	<Парки бабье лепетанье >
Вечности бессмертный трепет,	<Спящей ночи трепетанье>
Жизни мышья беготня —	
Что тревожишь ты меня?	
Что ты знаешь, вечный шепот?	<Что ты значишь, скучной шопот>
Что, упрек иль тайный ропот	<Укоризна, или ропот>
Мной утраченного дня?	
От меня чего ты хочешь?	
Смысла я в тебе ищу.	<Ты зовешь или пророчишь?
Ты зовешь или пророчишь?	Я понять тебя хочу
Я понять тебя хочу...	Смысла я в тебе ищу...>[41]

Колорит философского «ноктюрна» складывается за счет «рудиментов» архаической топики (ср., напр., «понижение» узнаваемого зачина: *Глагол времен! металла звон* — Державин; *Звучит на башне медь — час нощи* — Бобров; *Часов однообразный бой, Таинственная ночи повесть* — Тютчев; *Ход часов лишь однозвучный* — Пушкин;) и активного использования Пушкиным поэтического языка «любомудров»: *мрак, сон, трепет, лепет, шум, тайный, тревожный, пророческий* — все это ни что иное, как опорный словарь поэтов «немецкой» школы. К 1830 г. он уже в совершенстве освоен Тютчевым — от «Проблеска» до «Бессонницы», добросовестно отработан Веневитиновым, Хомяковым и Шевыревым. В стихотворениях последнего «Тайный трепет ожиданья / По полям и по волнам» (1825–1826), «Стансы», «Ночь» 1828 г. и «Ночь» 1829 г. встречаем тот же лексический арсенал: «*кипящий призраками мрак*», «*шумный язык*» природы, тайна, пророчество (*О скольких тайн твоих полна пророческая тишина, Не вдруг пророчь мне о несчастье*) вплоть до сакраментального «лепета» — *Там дремлют праздные умы, Лепечут ветреные люди*. Позже у Баратынского «лепетанье» станет синонимом эзотерического языка

природы, открывшегося Гете: *С природой одною он жизнью дышал / Ручья разумел лепетанье*. Однако, как известно, в немецкой предромантической и романтической поэзии комплекс близких этому слову значений (бормотанье, шорох, шелест, шум, гул) обслуживает одну из базовых натурфилософских идей о языке природы, невнятном, темном, являющем собою род тайнописи: *Когда безмолвствуешь, природа / И дремлет шумный твой язык* — так начинаются «Стансы» Шевырева, ср. у Тютчева: *Откуда он, сей гул непостижимый* («Как сладко дремлет сад темно-зеленый...», 1835). Многократно обсуждавшийся в литературе редакторский жест Жуковского, заменившего последний стих стихотворения на *Темный твой язык учу*, представляется в этой связи более чем оправданным: для Жуковского такая концовка намного органичнее вписывалась в очевидный для него «германский» колорит стихотворения, тогда как вариант *Смысла я в тебе ищу* его явно ослаблял[42].

Возможно с освоением именно этой стилистики связан и выбранный Пушкиным для стихотворения Х4, который, по утверждению М. Л. Гаспарова, становится для поэта на рубеже 1820—1830-х гг. «носителем „чужого голоса“»[43]: «Духовные оды и гимны XVIII в. прекращают в наш период свое существование, но традиции их сказываются в том, что наряду с песенной бодростью и легкостью, в Х4 сохраняется и серьезная тематика; ее поддерживает слабое, но постоянное влияние немецкой хореической лирики. Однако сентенциозная положительность и гимническая торжественность уступают место тревожной смутности ищущей мысли. Таковы пушкинские „Стихи, сочиненные ночью...“, „Дар напрасный...“, „Снова тучи надо мною...“ (1828—1830); то же настроение окрашивает и „Бесов“ (1830)...»[44].

В «Стихах...» Пушкин осуществляет своеобразный синтез тематически близкого и уже апробированного им поэтического материала. Неоднократные указания исследователей на внутреннюю связь «Стихов...» со стихотворениями «Воспоминание» и «Дар напрасный...», как ни удивительно, не шли дальше обычной констатации. Между тем, написанные друг за другом («Воспоминание» — 19 мая, «Дар напрасный...» — 26 мая 1828 г.), эти два текста складываются в тот идейно-художественный монолит, от которого Пушкин в октябре 1830 г. «отсечет все лишнее». Их поэтический синтез — ночная топика и высокая стилистика первого плюс интонационный ритм второго — претерпев определенную метаморфозу, даст на выходе болдинские «Стихи...». «Память» об этих текстах осядет в пушкинском стихотворении сколками перекликающихся цитат, ср.: «И *томит* меня тоскою / *Однозвучный жизни шум*» («Дар напрасный...») — «Ход часов лишь *однозвучный* ... *Жизни мышья беготня*» («Стихи...») — «В то время для меня влачатся в тишине / Часы *томительного бденья*» («Воспоминание») — «Мне *не спится*, нет огня. / Всюду мрак и сон *докучный*» («Стихи...»). При этом открывается и еще один, не менее значимый для пушкинского текста «адресат»: стих *Всюду мрак и сон докучный* узнаваемо перефразирует строки известного стихотворения Шевырева «Четыре новоселья», опубликованного в ч. 5 «Московского Вестника» за 1827 г.:

Когда из родины небесной
В страну выходим бытия
(О том как часто слышал я
В часы *бессонницы докучной*
Рассказы няни неотлучной)... <курсив мой. — *Л. З.*>

В этом контексте появляющийся у Пушкина в 1828 г. стих *Часы томительного бденья*, по смыслу более плотно прилегающий к шевыревскому *Часы бессонницы докучной*, вряд ли можно считать простой случайностью. Судя по всему, вариант именно этого, столь прочно засевшего в сознании Пушкина стиха Шевырева, появляется в болдинской «бессоннице».

Более подходящего для него времени, места и повода найти трудно. Действительно, «бывают странные сближенья»: именно тогда, когда в Москву из Рима идет шевыревское «Послание», Пушкин обращается к решению как раз тех мировоззренческих и художественных задач, которые Шевырев и призывает его в это время взять на себя. Другой вопрос, как Пушкин это делает.

«Стихи, сочиненные ночью...» — одно из таких решений и один из пунктов его «Опровержений на критики», попытка ответа на упреки в отсутствии мысли и глубины, на требования оставить исчерпавшие себя формы, обратиться к содержанию и т.д. Подобная «смена личины» или, скорее, «проба пера» не ускользнула в свое время от проницательного взгляда Б. С. Мейлаха, справедливо указывавшего, что «ни в одном стихотворении Пушкина нет таких „бесплотных", субъективно-идеалистических метафор, как в „Стихах, сочиненных ночью, во время бессонницы"»[45]. Без преувеличения можно сказать, что Б. С. Мейлах уловил идеологическую суть стихотворения. Весь ход пушкинской работы над ним — от топики, модуляций стиля до тончайших оттенков смысла, указывает на предпринятый опыт создания «философского ноктюрна» в духе поэзии любомудров[46].

В болдинской редакции стихотворения Пушкиным был выработан алгоритм поэзии такого рода, который, несколько огрубляя, можно свести к следующему: гладким слогом о высоких предметах. Это — поиск стилистического компромисса между ясным языком и глубоким содержанием, вещи, идеологически невозможной для Шевырева. Достаточно вспомнить его бурную реакцию на слова Погодина: «За силой и мыслью ты не гоняйся: по-моему жертв быть не должно. Что сильно, то может быть и гладко...»[47]. Подобная позиция профанировала основную идею стилистической реформы Шевырева[48]. И именно в этом направлении двигался Пушкин.

Суть его поэтического эксперимента состояла вовсе не в том, чтобы продемонстрировать свое умение писать, как призывает Шевырев, а в том, как, по мнению Пушкина, это следовало бы делать. Переходя на язык «мысли», но предлагая свой вариант, Пушкин фактически уже парировал так и не добравшееся до него в 1830 г. воззвание Шевырева, предвосхитив даже стилистику предполагаемого последним диалога «на равных»:

Из Рима мой к тебе несется стих,
Весь *трепетный*, но полный чувством *тайным*,

Пророчеством невнятным для других,
Но для тебя не *темным*, не случайным <курсив мой. — *Л. З.*>[49].

Весь этот набор лексики будет использован Пушкиным в работе над болдинским стихотворением.

Первая редакция стихотворения останется в бумагах Пушкина до 1835 г., когда он вновь вернется к нему, чтобы подготовить к публикации в составе поздней лирики.[50] Тогда будет внесена окончательная правка, снимающая последние следы «монументального» происхождения[51]. Именно в таком виде «Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы» вместе с другими стихотворениями 30-х гг., так и не дождавшимися прижизненной публикации, попадутся в 1840 г. на глаза Баратынскому и совершенно поразят его. Жене он напишет об этом: «<...> был вчера у Жуковского. Провел у него три часа, разбирая ненапечатанные стихи Пушкина. Есть красоты удивительной, вовсе новых и духом и формою. Все последние пьесы его отличаются, чем бы ты думала? Силою и глубиною!»[52]. Бумерангом к Пушкину вернулись слова, сказанные им в октябре 1830 г. о Баратынском: «чувствует сильно и глубоко».

Интуитивно Пушкин намечал путь, не до конца пройденный Тютчевым, — путь внутренней, глубинной перестройки жанра, ориентированный на его адаптацию к новым литературным нормам. Однако архаические элементы тютчевской лирики 20—30-х гг. все еще оставались слишком плотными и узнаваемыми, они «тянули» к оде. «Поэзия мысли, — писала Л. Я. Гинзбург, — должна была заговорить новым языком о новых предметах»[53]. «Стихи, сочиненные ночью...» — своего рода контрольный текст, опыт того, как «старым» (в данном случае, «гладким») языком можно говорить о «новых» предметах. Поэтому и берется ноктюрн — квинтэссенция философской поэзии. Выбирая для своего опыта эту форму, Пушкин стремился в первую очередь сохранить видовые черты жанра и перестроить его, используя его собственные ресурсы. Основным становился вопрос о природе метафоры: из плана выражения она должна была уйти в мысленную часть текста, переродившись в намек на себя, в едва уловимый контур[54].

Собственно, и само пушкинское стихотворение было лишь контуром того возможного пути развития русской поэзии, который мог бы стать естественной и органичной стихией для «уединенно идущих обходной тропинкой» Тютчева и Фета[55]. Но, видимо, таков удел истинных классиков, каким он представлялся Л. В. Пумпянскому: «Они не изображают, а чертят географическую карту всех возможных будущих изображений... Они открывают дальним плаванием великий океан будущей поэзии, но не описывают ни островов, ни бурь, а говорят: здесь, под таким-то градусом есть остров, здесь же риф, бойтесь его и отплывите. История этих мест будет создана после, ей предшествует география. Торопливость рассказа у Пушкина связана с тем, что плавание предстоит дальнее и останавливаться нельзя»[56]. Время пушкинских стихов о бессоннице, как и время Тютчева («самой ночной души» русской поэзии, по выражению Блока), придет лишь спустя полстолетия. Их примет и растворит в себе, как «родную кровь», поэзия Серебряного века — та, для которой Пушкин, видимо, и оставлял «чертежи» своих открытий[57].

Нет сомнения, что вопросы, затронутые Шевыревым в его «Послании», как сами по себе, так и в журнальной огласовке 1830 г., волновали Пушкина не меньше, чем Шевырева. Оба размышляют над ними в одно и то же время и с полной творческой отдачей. Шевырев не дождался от Пушкина ответа по роковому стечению обстоятельств, среди которых свадьба была не на последнем месте. Но главной причиной оставалось то, что Пушкин уже успел ответить на эти вопросы себе, и успел это сделать раньше, чем услышал их от своего оппонента. Его «молчание» — это молчание высказавшегося. Поэты попросту разминулись друг с другом. Но кто мог ожидать, что их разведет Болдинская осень?

Примечания

1 **Барсуков Н. П.** Письма М. П. Погодина к С. П. Шевыреву // Русский архив. 1882. № 5. С. 180.

2 См.: **Аронсон М.** Поэзия С. П. Шевырева // С. П. Шевырев. Стихотворения. Л., 1939. С. XXIII–XXXII; **Маймин Е. А.** Державинские традиции и философская поэзия 20–30-х годов XIX столетия // Державин и Карамзин в литературном движении XVIII — начала XIX века. Л., 1969. (XVIII век. Сб. 8). С. 131–140; Он же. Стихотворение С. П. Шевырева «Послание к А. С. Пушкину» // Проблемы пушкиноведения. Сб. науч. тр. Л., 1975. С. 160–168; Он же. Стихотворные опыты Шевырева // Е. А. Маймин. Русская философская поэзия. Поэты-любомудры, А. С. Пушкин, Ф. И. Тютчев. М., 1976. С. 78–106; Он же. А. С. Пушкин и С. П. Шевырев // Res philologica. Филологические исследования. М.; Л., 1990. С. 379–393.

3 Ср. процитированное выше письмо Погодина со свидетельством А. В. Веневитинова в его письме Шевыреву от 14 августа 1831 г.: «<Пушкин. — *Л. З.*> тебе много кланяется и благодарит за твое мне неизвестное к нему послание, на которое он тебе непременно будет отвечать, как скоро протрезвится от своей свадьбы. Впрочем, глядя на его милую жену, он, мне кажется, еще долго будет пьян» (цит по: **Аронсон М.** Поэзия С. П. Шевырева... С. XXIX); ср. также письмо Шевырева Соболевскому от 30 сентября/12 октября 1831 г.: «Он обещал мне отвечать на Послание, но, видишь, пьян своею женою» (Лит. насл. М., 1934. Т. 16/18. С. 749).

4 **Маймин Е. А.** А. С. Пушкин и С. П. Шевырев... 1990. С. 389; см. также: **Маймин Е. А.** Русская философская поэзия... 1976. С. 98.

5 **Аронсон М.** Указ. соч. С. XXXI.

6 **Зыкова Г. В.** Пушкин и Шевырев: к проблеме «московской школы» // Пушкин. Сборник статей. М., 1999. С. 210.

7 Московский Вестник. М., 1828. № I. С. 59–84.

8 Об истории отношений Пушкина с московскими литераторами см.: **Вацуро В. Э.** Пушкин и общественно-литературное движение в период последекабрьской реакции: Ситуация 1825–1837 гг. // Пушкин: Итоги и проблемы изучения. М.; Л., 1966. С. 213–236; **Решидова Н.** Пушкин и эстетическая позиция журнала «Московский Вестник» // Вопросы романтизма. Калинин, 1974; **Осповат А. Л.** К литературным отношениям Пушкина и Шевырева // Проблемы пушкиноведения. Рига, 1983. С. 57–65; **Морозов В. Д.** «Московский вестник» и его роль в развитии русской критики. Новосибирск, 1990. С. 18–38, 218–243; **Потапова Г. Е.** М. П. Погодин — критик Пушкина: К вопросу об атрибуции нескольких статей в журнале «Московский вестник» // Временник Пушкинской комиссии. СПб., 1996. Вып. 27. С. 197–205; **Мазур Н. Н.** Пушкин и «московские юноши»: вокруг проблемы гения // Пушкинская конференция в Стэнфорде. Мат. и иссл. М., 2001. С. 54–105.

9 См.: **Мазур Н. Н.** Указ. соч. С. 74 и далее.

[10] **Пушкин А. С.** Полн. собр. соч.: В 16 т. М., 1938. Т. VI. С. 215.

[11] **Шевырев С. П.** Дневник [Публ., подг. текста и коммент. М. И. Медового] // Ежеквартальник русской филологии и культуры. Russian studies. СПб., 2000. Т. III. С. 206.

[12] Цит. по: **Маймин Е. А.** Стихотворение С. П. Шевырева «Послание к Пушкину» // Проблемы пушкиноведения. Сб. науч. тр. Л., 1975. С. 159–160.

[13] См.: **Шевырев С. П.** Дневник... Указ. соч. С. 191.

[14] См.: Лит. насл. М., 1934. Т. 16–18. С. 750; Русский Архив. 1878. № 5. С. 48.

[15] **Топоров В. Н.** Указ. соч. С. 226.

[16] Стихотворение, судя по всему, написано в августе–начале сентября, т.к. впервые фигурирует в письме к Дельвигу от 14/2 сентября. См.: **Шевырев С. П.** Стихотворения / Вст. ст., ред. и прим. М. Аронсона. Л., 1939. С. 228. См. также специально посвященную этому стихотворению статью В. Н. Топорова «О стихотворении Шевырева „[Пушкину]" и античной параллели к нему» (Лотмановский сборник. 2. М., 1997. С. 224–243).

[17] **Шевырев С. П.** Указ. соч. С. 228.

[18] Там же. При публикации в «Литературной Газете» Дельвиг указал автора эпиграммы. Но, видимо, и он ощущал некоторую двусмысленность этого выступления, поскольку сразу за эпиграммой поместил энергичный ответ Шевырева на очередные инсинуации Булгарина в «Северной пчеле» (Литературная Газета. СПб., 1830. Т. II. № 56. С. 161–163).

[19] Ответное письмо Шевырева от 15 марта 1831 г. (цит. по: **Аронсон М.** Поэзия С. П. Шевырева... С. XXIV–XXV) на письмо Погодина от 25 января 1831 г.: «За силой и мыслью ты не гоняйся: по-моему жертв быть не должно. Что сильно, то может быть и гладко...» (Там же. С. XXV).

[20] Северная пчела. 1830. № 30. По поводу этой статьи Булгарина Вяземский писал в одном из писем к жене в марте 1830 г: «У вас ли Пушкин? Что говорит он о глупой статье Булгарина на него, напечатанной в Пчеле? Здесь все читают ее с омерзением» (цит по: Звенья: Сборники материалов и документов по истории литературы, искусства и общественной мысли XIX–XX вв. М.; Л., 1932–1951. Т. VI. С. 216).

[21] Цит. по: **Барсуков Н. П.** Письма М. П. Погодина к С. П. Шевыреву // Русский Архив. 1882. № 5. С. 161–162.

[22] О существовавшей у Шевырева «значительной доли самомнения» на этот счет см.: **Майков Л.** Воспоминания Шевырева о Пушкине // Русское обозрение. М., 1893. Т. 21. С. 21.

[23] **Пушкин А. С.** Указ. соч. Т. X. С. 277–278.

[24] Летопись жизни и творчества Александра Пушкина. М., 1999. Т. 3. С. 244–245.

[25] **Барсуков Н. П.** Указ соч. С. 130 (письмо М. П. Погодина к С. П. Шевыреву от 27 января 1830 г.).

[26] Из письма Ю. И. Веневитинова Погодину февраля 1830 г. (цит. по: Лит. насл. М., 1934. Т. 16–18. С. 707).

[27] Вестник Европы. 1830. № 7. С. 209.

[28] Московский вестник. № 1. 1828. С. 71.

[29] См. об этом: **Бонди С. М.** Статьи Пушкина о Баратынском // С. М. Бонди. Новые страницы Пушкина. М., 1931. С. 115–129; **Кулагин А. В.** Пушкинский замысел статьи о Баратынском // ВПК. Л., 1991. Вып. 24. С. 162–174.

[30] **Пушкин А. С.** Полн. собр. соч.: В 10 т. М., 1958. Т. 7. С. 221.

[31] Подробно об этом см.: **Мазур Н. Н.** Указ соч. С. 74–80.

[32] **Мазур Н. Н.** Указ. соч. С. 83–91. Любопытно, что в эти же дни, 19 октября, Шевырев делает в своем дневнике запись, где ставит Пушкину характерный диагноз — «гений с запоем» (**Шевырев Н. С.** Дневник. С. 208).

[33] **Маймин Е. А.** Философская поэзия Пушкина и любомудров (К различию художественных методов) // А. С. Пушкин. Исследования и материалы М.; Л., 1969. Вып. 6.

С. 114. «Шевырев, — писал Е. А. Маймин, — <...> считал основными задачами поэзии задачи психологические: постижение „глубоких тайн“ и „пучин“ человеческой души. В середине 20-х годов, независимо от любомудров и сугубо по-своему, те же задачи ставил перед собой и творчески решал Пушкин. Именно с этим прежде всего и связано обращение Пушкина к маленьким трагедиям» (Там же. С. 111).

[34] Об этой пушкинской пометке на одном листе с текстом стихотворения (ПД. Ф. 244. Оп. 1. № 144) см.: **Сидяков Л. С.** Две редакции «Стихов, сочиненных ночью во время бессонницы» А. С. Пушкина // Пушкинский юбилейный. Иерусалим, 1999. С. 45.

[35] **Белоусов А. Ф.** Стихотворение А. С. Пушкина «Зимний вечер» // Русская классическая литература. Анализ худ. текста: мат. для учителя. Таллин, 1988. С. 20. См. также: **Измайлов Н. В.** Очерки творчества Пушкина (Главные лирические циклы в поэзии Пушкина конца 20–30-х годов). Л., 1975. С. 261–262; **Грехнев В. А.** Болдинская лирика А. С. Пушкина. 1930 год. Горький, 1977. С. 73–81; **Таборисская Е. М.** Онтологическая лирика Пушкина 1826–1836 годов // А. С. Пушкин. Исследования и материалы. СПб., 1995. Вып. 15. С. 77, 79, 80–82, 84.

[36] **Грехнев В. А.** Указ. соч. С. 78.

[37] **Пеуранен Э.** Лирика А. С. Пушкина 1830-х годов. Поэтика: темы, мотивы и жанры поздней лирики. Ювяскюля, 1978. С. 210.

[38] Пушкин А. С. Указ. соч. С. 171–172.

[39] О литературном генезисе «Стихов, сочиненных ночью...» см.: **Зайонц Л. О.** Семен Бобров и пушкинские стихи о бессоннице // Антропология культуры. М., 2002. Вып. 1.

[40] Там же.

[41] Факт установления двух редакций стихотворения принадлежит Б. С. Мейлаху, см.: **Мейлах Б. С.** Пушкин и русский романтизм. М.; Л., 1937. С. 261–264. Существенные уточнения в предложенную Мейлахом реконструкцию были впоследствии внесены Л. С. Сидяковым, см.: **Сидяков Л. С.** Указ соч. С. 45–56. Редакция 1830 г. цитируется по этому изданию.

[42] Тот же романтический колорит пушкинского стихотворения отмечает в своей статье Д. Л. Чавчанидзе, видя в нем отклик на «Гимны ночи» Новалиса и «Ночные бдения Бонавентуры», см.: **Чавчанидзе Д. Л.** Силуэт Германии на страницах Пушкина // Университетский пушкинский сборник. М., 1999. С. 431. Думается, однако, что это как раз те программные тексты немецкого романтизма, «магнитное поле» которых Пушкин, собственно, и старался нейтрализовать средствами поэтического языка.

[43] **Гаспаров М. Л.** Семантический ореол пушкинского 4-стопного хорея // Пушкинские чтения в Тарту: Тез. докл. науч. конф. 13–14 ноября 1987. Таллин, 1987. С. 55.

[44] **Гаспаров М. Л.** Очерк истории русского стиха: Метрика. Ритмика. Рифма. Строфика. М., 1984. С. 115.

[45] **Мейлах Б. С.** Пушкин и русский романтизм. М.; Л., 1937. С. 262.

[46] В этом смысле «Стихи, сочиненные ночью...» сопоставимы со стихотворением Пушкина «Три ключа» (1827) — тонкой и точной поэтической стилизацией, в которой он как бы «отметился», по Веневитинову.

[47] См. сноску 18.

[48] По точному наблюдению В. Н. Топорова, Шевырев усложнял и утяжелял язык, не только ожидая реакции со стороны гармонии, но и испытывая «разрешающую» способность читателя. Поэзия выступала как «фильтр, отсеивающий „недостойного“ читателя» (**Топоров В. Н.** Указ. соч. С. 237).

[49] В предложенной Шевыревым стилистике ему вместо Пушкина ответил Н. Полевой полемической пародией «Рим»: «Себе единому понятен / Для черни смысл он потерял. / И черни глас ему невнятен, / И ей не знать, что он писал» (Новый живописец. 1832. Ч. 6. С. 126–127).

[50] Рукою Пушкина. Несобранные и неопубликованные тексты. М.; Л., 1935. С. 285.

[51] См.: **Маймин Е. А.** Указ. соч. С. 110; **Сидяков Л. С.** Указ. соч. С. 51–52.

[52] **Баратынский Е. А.** Стихотворения. Письма. Воспоминания современников. М., 1987. С. 270.

[53] **Гинзбург Л. Я.** О лирике. М., 1997. С. 54.

[54] См. об этом в нашей работе «Семен Бобров и пушкинские стихи о бессоннице».

[55] **Эйхенбаум Б. М.** Проблемы поэтики Пушкина // Сквозь литературу. Сб. ст. Л., 1924. С. 160.

[56] **Пумпянский Л. В.** Об исчерпывающем делении, одном из принципов стиля Пушкина // А. С. Пушкин. Исследования и материалы. 1982. Вып. 10. С. 231. Об этом свойстве Пушкина как о досадном недостатке напишет в 1837 г. Шевырев: «Пушкин <...> почти всегда довольствовался одним эскизом в изобретении <...> Эскиз был стихиею неудержного Пушкина: строгость и полнота формы, доведенной им до высшей степени совершенства, которую он унес с собою, как свою тайну, и всегда неполнота и неоконченность идеи в целом — вот его существенные признаки» (Московский наблюдатель. 1837. Ч. 12. С. 316).

[57] См.: А. Блок «Я помню час глухой, бессонной ночи...» (1901), «Я вышел в ночь — узнать, понять...» (1902), И. Анненский «Парки — бабье лепетанье» (нач. 1900-х), В. Брюсов «Парки бабье лепетанье...» (1918), а также специально посвященное пушкинскому стихотворению эссе М. Волошина «Аполлон и мышь» (1910); см. также: **Григорьева А. Д.** «Мне не спится...» (К вопросу о поэтической традиции) // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. М., 1974. Т. 33. № 3. С. 207–215; **Тименчик Р. Д.** Ахматова и Пушкин. Заметки к теме. III. «Невидимый звон копыт...» // Пушкин и русская литература: Сб. науч. тр. Латв. гос. ун-та. Рига, 1986. С. 119–135.

Тартуский университет
Кафедра русской литературы
Кафедра семиотики
Российский государственный гуманитарный университет
Институт высших гуманитарных исследований

ЛОТМАНОВСКИЙ СБОРНИК

3

О·Г·И
Москва 2004